МИРОВАЯ КЛАССИКА

Ю. НАГИБИН

Московская книга

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Размышления коренного москвича об историческом и архитектурном облике столицы.

- Юрий Нагибин
  - ○

Юрий Нагибин
Москва… Как много в этом звуке…

Из чего ты построен? Простой и невероятно сложный вопрос. Спокойствия ради люди редко им задаются, а если и задаются порой, то быстро отбрасывают в утомлении. И в самом деле, чтобы ответить на него, надо припомнить и назвать сотни человеческих лиц, не меньше — жизненных обстоятельств, тысячи книг, картин, музыкальных произведений, сколько-то любовей и разрывов, дружб и ссор, и, конечно, оживет горькая память войны, для одних — фронт, для других — не менее страшный тыл, и потери, и жертвы, и обретения новых сил, но, сколько всего ни называй, чувство исчерпанности так и не придет.

Но если взять основной, самый важный, изначальный строительный материал, то станет куда проще: тебя строила Родина, ее земля и небо, вода и деревья, трава и цветы, смены времен года, дома и улицы, если ты увидел свет посреди городского пейзажа, тебя строили люди. Вначале все люди сведены в одного человека, который тебя кормит, греет, оберегает, и ты первому даешь ему имя в еще не названном мире — мама. Затем возле тебя (если ты везун) появляется поначалу не совсем понятное дополнение к маме, и ты уже при родителях, а там, откуда ни возьмись, посыплются дедушки, бабушки, родственники, друзья, знакомые, учителя, и ты оказываешься посреди народа. Но как Народ начинается с матери, так Родина начинается с малой родины: квартиры, дома, двора, улицы, деревни или города. Чувство к этой малой родине очень многое определяет в твоей последующей жизни, из него вытекает любовь к Большой Родине, оно — источник патриотизма. Моя малая родина очень значительна, ибо я коренной москвич. И вот об этом, бесконечно дорогом и важном, мне хочется поговорить в первую очередь: о моей — и одновременно всеобщей — Великой малой родине — Москве.

Мальчик с рыжей головкой смотрит в окно на расстилающуюся перед ним московскую окраину. Он видит раскисшую мартовскую землю еще не застроенного пустыря, пересеченного железнодорожной насыпью, по которой сейчас идет поезд; за насыпью — вскрывшаяся белесо-мутная река, на другом берегу, за необжитой землей, — кварталы новых высоких домов, а в глубине, на фоне лимонных утренних небес, голубой силуэт университета.

Мальчик стоит, вытянувшись в струнку, на подставке — деревянном кругляше, что придает ему сходство со статуэткой, тонкие руки засунуты в карманы джинсов, слева от него, в бутылке из-под кефира, тополиная веточка выпустила острые зеленые листики, они родственны друг другу — мальчик и веточка. По сторонам трогательно большой рыжей головы торчат розовые ушки, выдавая скрытое напряжение маленького наблюдателя, чьи глаза, жадно пожирающие мир, как и все лицо, скрыты от нас.

Я смотрел на него с уважением, нежностью и странной печалью, о причине которой догадался далеко не сразу. А когда догадался, то не изгнал эту печаль, а приник к ней сердцем. Я вспомнил другого мальчика, умевшего так же пристально и очарованно глядеть в окошко на дарованный ему мир: задний двор огромного дома в старом московском переулке, сухие, как наждак, а когда и мокрые, блестящие от дождя или толсто заснеженные крыши и вздымающееся над ними, прямо против окна, пятиглавье древней церкви Николы в Столпах. Один из куполов был усеян по темно-синему фону крупными золотыми звездами, потухающими с появлением небесных звезд. Но бывало, что месяц становился прямо над темным куполом, почти касаясь рогом верхушки креста, и тогда, зажженный им, пучок крупных золотых звезд вписывался в узорчатую ткань ночного неба. Стаи городских птиц кружили над Николой, воробьи и галки садились на кресты, а голуби на кокошники.

Но не только церковь привлекала мальчика. Его глаза с той же жадностью обращались к глубокому, как колодезь, двору соседнего высоченного дома — таинственной державе, куда не имели доступа чужаки под страхом смертной казни, к длинной плоской крыше, кроющей построенные стена в стену дровяные сараи, среди которых был напоенный чудесным запахом березовых дров сарай, принадлежащий семье мальчика, к голубятне над этой крышей в ближнем ее конце, к маленькому, с копейку, садику в глубине под окнами, с кустом сирени и скамеечкой возле увитой диким виноградом стены, — этот садик проглядывался лишь летом, когда распахивались окна и можно было, свесившись, глянуть вниз.

Простора, дарованного рыженькому наблюдателю, у этого мальчика, жившего в центре города, разумеется, не было, но он не чувствовал себя обделенным, ибо не мог насмотреться всласть и на то, что ему принадлежало. Я это твердо знаю, ведь я и был тем самым мальчиком, счастливым обитателем дома, выходившего фасадами на три (!) старых московских переулка: Армянский, Сверчков (бывший Малый Успенский) и Телеграфный

(бывший Архангельский). Я застал эти названия, а вот о старом названии Армянского — Никольский или Столповский, по церкви XVII века Николы в Столпах, — знал с чужих слов. А еще он назывался одно время Артамоновским — по двору знаменитого дипломата времен царя Алексея боярина Артамона Сергеевича Матвеева.

Наш дом обладал не только тремя фасадами, но и двумя дворами, что тоже не часто встречается. Я жил во втором дворе, а в Армянский переулок выходил длинной, как тоннель, подворотней первый двор, и все же мы числились и писались не по Сверчкову или Телеграфному, а по Армянскому, о чем ничуть не жалели. В Армянском стояла на церковном дворе с чудесной решеткой, под сенью вековых ясеней и вязов, усыпальница бояр Матвеевых, которую мы в те годы упорно называли «гробницей боярина Морозова». И ведь существовал такой боярин, воспитатель царя Алексея; после женился он на сестре царицы, направлял всю внутреннюю политику России, драл семь шкур с тяглового люда и вызвал страшные «морозовские бунты», но мы, конечно, ни о чем таком не знали, просто была на слуху суриковская боярыня Морозова, а фамилия Матвеева ничего нам не говорила. Не знали мы и что гробница построена «в виде римского саркофага с двумя портиками и колоннами в 1820 году на месте избы с высокой тесовой крышей» — старой усыпальницы, но это нисколько не уменьшало очарование места, напротив, усиливало, ибо таинственный туман привлекательней для юной души холодного знания.

Было великим удовольствием перелезть через высокую решетку со стреловидными наконечниками, безжалостно рвавшими штаны, взбежать по замшелым, обшарпанным ступенькам и мимо источающих влажную стынь колонн испуганно посунуться к темному пролому в стене склепа, откуда шибало спертым могильным тленом. В кромешной тьме едва угадывались какие-то продолговатые каменюки — разбитые надгробья, как я теперь понимаю, но мы были убеждены, что видим кости и даже… обызвествленные боярские сердца. Да-да, я ничего не придумываю!.. Невероятно, но и повзрослев, я продолжал этому верить. Если уж быть до конца откровенным, то лишь сейчас за листом бумаги открылся мне бредовый вздор детского мифотворчества, столь прочно вросший и душу.

А еще была у нас армянская — с высоким куполом — церковь в глубине обширного светлого двора, мощенного лобастым, гладким, будто полированным, булыжником. Эту церковь построила богатая семья Лазаревых, возведенных Екатериной II в дворянское достоинство. Армяне спокон веку жили в нашем

переулке, отсюда и название его, но предприимчивый род Лазаревых — их шелка и парчи считались лучшими в Европе — покрыл невиданным блеском старое армянское подворье. Особенно преуспел действительный статский советник и командор И. Л. Лазарев, завещавший своему наследнику построить училище для детей беднейших армян. Из этого училища возник впоследствии знаменитый Лазаревский институт восточных языков. Прекрасное здание его сохранилось в неприкосновенности и по сию пору. Равно и памятный обелиск действительному статскому советнику и командору.

А еще у нас был в переулке, да и сейчас стоит дом, в котором провел детство и юность великий поэт Тютчев. Там же жили декабристы Завалишин и Шереметьев, у последнего на квартире был арестован Якушкин.

Считается, что дети существуют вне истории, что жизнь их, пользуясь выражением бывшего насельника Армянского переулка, «вся в настоящем разлита». Это неверно. Дети живут и в истории, хотя она входит в их сознание нередко в причудливом мифологическом убранстве. Мы, дети Армянского переулка, не были равнодушны к тому, что наше жизненное пространство украшают старинные здания с их загадочными названиями, что в церковном дворике тени деревьев накрывают единственное на всю Москву строение — боярскую гробницу, что есть у нас Лазаревский институт, армянская церковь и очень, очень старые дома — обиталища знаменитых русских людей. Мы знали, что многочисленные сады вокруг нашего дома — остатки громадных царских садов, посаженных двести пятьдесят лет назад, что у нашего переулка на Покровке проходила некогда граница поселения знатных людей, и радовались этому обстоятельству, будто сами принадлежали к знати, и что Покровка запиралась на ночь «Кузьмодемьянской решеткой». Нам как бы сообщалась некая избранность, и, право же, в том нет ничего плохого, ибо другие ребята округи были отмечены и «вознесены» близостью Покровских казарм или Меншиковой башни. Главное — было бы чем гордиться. И мы гордились прошлым, так плотно обступившим наш замечательный дом, причастный Октябрю, — в нем находился штаб революционных печатников, равно гордились и самим домом с двумя дворами, по углам которых располагались винные подвалы. Эти дворы, вечно запруженные подводами с бочками, фурами, тугими рогожными кулями, распираемыми в разрыв сахаром и проспиртованной вишней, — в оглоблях здоровенные битюги, гривастые, с мохнатыми бабками, из-под забранных в узел хвостов то и дело выкатывают на булыжник пахучие яблоки — были предметом нашей особой

гордости, доходившей до зазнайства. Подвалы, бочки, кули, битюги, равно и дровяные сараи, голубятни, помойка принадлежали удивительному настоящему нашего дома, революционная его слава — недавнему удивительному прошлому, свидетели и герои которого назывались теперь просто жильцами, а переулок, по которому писался адрес, погружал нас в удивительную историю Москвы, собравшей вокруг себя всю русскую державу. И мы, дворовая шпана, голубятники, хулиганы, футболисты, похитители пустых бутылок со склада, драчуны, велосипедисты, врали, рыцари, плаксы, стоики, лоботрясы, книжники, филателисты, циники, мечтатели, жили исторической жизнью в нашем историческом мире. Прямо напротив высокой просторной арки наших ворот и по сию пору стоит замечательный дом XVIII века, построенный, как мы тогда быстро смекнули, самим Растрелли. Мог же он построить за Покровскими Воротами пышный дворец, в пору торжества классицизма презрительно именовавшийся «комодом», но для нас, мальчишек и девчонок, свободных от классических пристрастий и предвзятости, прекрасный, как мечта, со своими белыми колоннами и белой лепниной, дивно выделявшейся на лазоревом фоне стен. Так почему бы не построить великому зодчему и дома на углу Девяткина и Сверчкова? Должен сказать, что мы плохо отличали барокко от классицизма.

Там помещалась китайская прачечная, и клубы пара, то и дело вырывавшиеся из дверей, окутывали фасад пухлым белым облаком, мешавшим проглянуть его красоту. Немало часов просидел я на косой каменной тумбе, отмечавшей с переулка въезд в наш двор, томясь загадочностью чужой непонятной жизни. Вдруг — всегда вдруг — из дома выбегал узкий и легкий телом китаец с седым бобриком волос и худым лицом, обтянутым по лбу, скулам и вискам такой тонкой восковистой кожей, что казалось, она вот-вот лопнет. С уголков рта у него свисало по крысиному хвостику, а с подбородка — несколько длинных толстых волос. Он держал у плеча на ладони левой руки, согнутой в локте, сверток в тонкой розовой бумаге. Прежде чем перейти улицу, он по-птичьи, толчками, поворачивал голову направо и налево, удостоверяясь в безопасности пространства. Затем устремлялся вперед, быстро семеня прямыми, как палки, ногами. Он прошмыгивал мимо меня в своей темной легкой одежде — широкие штаны, рубашка балахоном — и скрывался в сумраке подворотни, куда не проникали солнечные лучи. Меня задевал ветерок, рожденный его близким проскользом, и несколько мгновений звучала тихая музыка — колокольчики, нежный мелодичный перезвон, который я действительно слышал

ушами, а не творил внутри себя. Китаец уже давно скрылся, а темное волнение не затихало во мне, странные, неясные, печальные образы возникали и таяли, не позволяя вглядеться в себя и назвать словами, единственно дающими власть над явлениями и грезами…

Вечером в прачечную приходила большая, как карусель, и такая же нарядная, вся в лентах, бусах и ярких тряпицах, молодая китаянка, увешанная с головы до крошечных ног бумажными фонариками, веерами, трещотками, летающими рыбами, драконами, причудливыми игрушками из сухой гофрированной бумаги. Ах, эти ноги со ступнями-обрубками, я не мог к ним привыкнуть! И ведь я догадывался, что китаянка не испытывает страданий, и даже как-то смутно знал, что ноги у нее не обрублены, а воспитаны в детстве тугими пеленами, и все же лучше было не смотреть вниз. Я прилипал взглядом к ее круглому, с подрисованными бровями, неподвижно-нарядному кукольному лицу. Китаянка с трудом протискивалась в маленькую дверь.

Мне представлялось, что, оставив свои лохани с хрустальной пеной, каталки и утюги, китайцы зажигают цветные фонарики, раскрывают нарядные веера и начинают тихо, чинно, плавно танцевать под сладкозвучье колокольчиков и трещоток с непременной кровавой капелькой сургуча на деревянной ручке, а в парком, влажном воздухе реют летающие рыбы, преследуемые драконами…

Прачечная давно закрыта, китайцы уехали стирать к себе на родину, а дом, посвежевший и поюневший, будто распрямился, одаривая своей нарядностью два переулка: Сверчков и Девяткин.

Сверчков не долго радовал нас. Там началась вырубка старых садов. В предсмертной тоске, шумя ветвями и листвой, падали под пилами и топорами вековые дубы, могучие вязы, ясени, дивные клены, уничтожались сирени, жасмины, ракиты. На пустырях возникали строительные площадки. Но хилые городские деревца, которыми так щедро обсажены московские улицы, добывают из-под асфальта слишком коротенькую, чахлую жизнь своими бедными корнями, они поздно зацветают, рано желтеют, облетают и очень мало дают для оздоровления спертого городского воздуха. По-настоящему освежают город лишь растительные массивы — сады и парки.

Нашему крылу дома сказочно повезло. Запертые на замок с дней революции, открылись парадные двери, и мы получили выход в тихий, задумчивый, не тронутый школьным строительством Телеграфный переулок.

Он обстроен высокими, добротными доходными домами, есть

там и несколько приземистых одноэтажных зданий XVIII века — приспособленные под жилье конюшни, но главным его сокровищем была и осталась знаменитая бело-розовая Меншикова башня, как издавна прозвали в народе храм Архангела Гавриила, приютившая у своего подножия скромную церковь Федора Стратилата. Башню возвел в 1705–1707 годах по повелению царского фаворита лучший московский зодчий той поры Иван Зарудный, первый художественный цензор России. Церковь построил на век позже любимый ученик Матвея Казакова И. Еготов…

Жизнь увела меня от места моего начала. Мы переехали в один из тихих арбатских переулков, и Москва открылась мне, уже юноше, иной прелестью. Там, в первом мире, царили XVII–XVIII века. В своем рассказе я несколько сузил пространство детства, оно не замыкалось в Чистопрудных переулках, было шире, охватистее. И расширялось оно преимущественно в одну сторону, совпадающую с изначальным направлением роста Москвы: Покровка — Басманная — Разгуляй — Елоховская. Москва тянулась за царевым путем из Кремля в подмосковные вотчины: Покровское, Измайлово и Преображенское. И я тянулся туда же, ибо у Покровских Ворот находилась моя школа, на Басманной — Дом пионеров, у Разгуляя — футбольное поле, на Елоховской — поликлиника, а в Лефортове — площадка для военной игры. Я следовал за царем Алексеем до Немецкой улицы, здесь наши пути расходились: царский возок двигался прямиком, я же отваливал вправо, к Лефортову.

А вот в Приарбатье меня окружила Москва, какой она стала после пожара 1812 года. Вместо дворцов, палат и городских усадеб — реже каменные, чаще деревянные, оштукатуренные особняки об один-два этажа. Вместо пышных храмов, преимущественно нарышкинского барокко, небольшие церковки и много, много старых деревьев, но не в садах, а в палисадниках и малых двориках; из-за каменной или чугунной ограды клены простирали над узкими тротуарами раскидистые ветви в лапчатых листьях. Сухой осенью нежно шуршали арбатские ночи. Тихи, тенисты и уютны были эти редко прямые, куда чаще извилистые, причудливо искривленные переулки. Как славно было здесь жить после всех ужасов наполеоновского нашествия, небывалого в истории Москвы опустошительного пожара, пощадившего по странной игре случая все триста шестьдесят полицейских будок.

После пожара комиссия во главе с лучшим зодчим Бове, создателем Большого театра, Триумфальных ворот, Градской больницы, разработала типовые, как мы сейчас говорим, проекты

жилых домов для людей разных званий и достатка. И когда любуешься многочисленными особняками той поры, сохранившимися не только в районе Арбата, но и в других частях города, то радостно удивляешься их разнообразию, и старушка Москва, впервые подчинившаяся строительному плану, сохранила свой живой облик, и прав был некий коренной москвич, писавший в те годы: «…ходя по Москве, вы не идете между двумя рядами каменных стен, где затворены одни расчеты и страсти (накопительские, надо полагать. — Ю.Н.), но встречаете жизнь в каждом домике отдельно». Хоть и коряво, но хорошо сказано!..

Арбатские переулки, расположенные в квадрате, образуемом Садовой, Кропоткинской, Гоголевским бульваром и самим Арбатом, в наибольшей цельности донесли до наших дней образ послепожарной Москвы. Границы Приарбатья правильней было бы числить по улице Воровского, но с появлением Калининского проспекта эти кварталы имеют «смятенный вид». Чистая и светлая пора в московском градостроительстве замутилась на исходе XIX века, а в первое десятилетие XX столетия окончательно возобладал модерн вперемежку с псевдорусским стилем — претенциозная безвкусица алчной эклектики. На фоне особняков-ракушек, знойных мавританских мотивов, столь неуместных под северным солнцем, и обнаженных дев под карнизами выигрывала добротная архитектура доходных домов, не претендующая на ранг искусства, но не оскорбляющая вкуса и служащая своему назначению.

Словно некой центробежной силой меня уносило все дальше и дальше от исторического ядра столицы. Начинал я жизнь в Белом городе, невдалеке от Китайской стены, где шелестел листами старых фолиантов книжный развал, продолжал — в пределах Земляного города, а завершаю — за Камер-Коллежским валом, созданным, в отличие от остальных московских «городов», не обороны ради, а на предмет недопущения в столицу беспошлинного вина. За бывшей винной заставой в нашем районе нет ни московских древностей, ни московской старины, если исключить немногие ветхие дореволюционные дачки допетровского стиля, в котором доверчивый и увлекающийся В. В. Стасов усмотрел возрождение национальной русской архитектуры. Задавленные корпусами новостроек, дачки тихо рассыпаются, изъеденные жуками-древоточцами, среди пыльных ржавых сиреней. Впервые я оказался в архитектурном вакууме. Архитектура в нашей части Москвы кончается на Петровском дворце, построенном Матвеем Казаковым в несвойственной ему манере, и начинается много дальше, в бывших подмосковных усадьбах вельмож. К нам всего ближе юсуповское Архангельское,

дивно спланированное Де Терном, но это и по новым границам уже не Москва.

Историческая и эстетическая пустота нового местожительства, навязав душе чувство постоянного сиротства, способствовала моему отчуждению от Москвы. Тем более что у меня появилось загородное жилье, где я проводил большую часть года. И оставлял я свою берлогу лишь ради Ленинграда. Я был околдован Ленинградом. Многое связывало меня с этим городом: война, работа на «Ленфильме», рассказы, дружба и, наконец, любовь: моя жена — коренная ленинградка. И настало такое время, что я и жить стал больше в Ленинграде, нежели в Москве, и узнал его лучше, чем стремительно менявшуюся Москву.

Москва же не только менялась, но и расширялась, придвигалась к моему загородному жилью близ деревни Ватутинки по Калужскому шоссе. По пути она поглотила Воронцово, Коньково, Теплый Стан. Целые микрорайоны вырастали быстрее, чем прежде отдельные дома. Я уже не помню сейчас, в каком году открылся стадион имени Ленина, запестрела ярмарочная площадь перед ним, красиво вписалось в срез Ленинских гор новое здание метро, но хорошо помню, как ахнул, впервые увидев распахнувшийся во всем великолепии, на зеленом взгорке, дом Пашкова — лучшее украшение Москвы.

Но странно, даже то поистине прекрасное, чем обновилась Москва, не только не приближало меня к ней, напротив, усиливало отчуждение. Влюбленный в «прозрачный сумрак, блеск безлунный» белых ночей, я чувствовал себя в Москве блудным сыном, которого хоть и приносит к отчему порогу, но тут же влечет прочь. Я уходил, так и не ощутив прикосновения ищущих рук ослепшего отца. Конечно, я сознавал, что теряю Москву, но утрата не причиняла мне боли. А если порой и теснило грудь, то я быстро излечивался Ленинградом…

А потом в Москву приехала кенийская писательница Грейс Огот. Незадолго перед тем она принимала меня в своем очаровательном, увитом бугенвиллеями доме в Найроби, и я очень сдружился с ней и ее мужем Алланом, видным историком народности луо, профессором университета. Выполняя данное в Найроби обещание, я повез Грейс по Москве. Очень высокая, длинноногая и длиннорукая, с выпирающими, как у всех женщин-луо, верхними зубами и при этом странно и ярко красивая, женственная и стремительная, как антилопа импала, непосредственная, как ребенок, при вечной грусти в глубоких влажных темных глазах, Грейс то и дело требовала остановить машину, зачастую в недозволенном месте, выскакивала наружу, всплескивала руками с шафрановыми ладонями и, задыхаясь,

кричала: «Марвелоуз!.. Ит'с марвелоуз!..» И блюстители порядка, вышколенные в духе высокого интернационализма, натянуто улыбались и не гнали нас прочь с восхитившего Грейс запретного места.

Особенно восхищали ее площади. Существует строгое и авторитетное мнение, что в Москве лишь две площади соответствуют высшим архитектурным канонам: Красная, разумеется, и Свердлова, бывшая Театральная. К сожалению, ее испортил грубый торец только что достроенной гостиницы «Москва». И все же, когда Грейс закричала свое самое громкое «Марвелоуз!», потрясенная распахнувшейся перед нами с улицы Горького неохватной площадью, я готов был вторить ей. «Таких площадей нет нигде в мире!» — с некоторым ожесточением утверждала Грейс, а она имела право так говорить, объездив все континенты, кроме Антарктиды, но этот суперпустырь не в счет. Громадность чистого пространства, которое город с невиданной щедростью высвободил в самом центре, в скрещении всех пронизывающих его напряжений, поистине ошеломляюща. И тут уже не до ортодоксальных канонов, захватывают масштаб, царственная свобода жеста, негородское обилие неба (и по контрасту вспоминается душный, запертый Нью-Йорк, где вместо площадей — перекрестки); окаймляют же это воздушное озеро кремлевские стены и протянувшийся вдоль них Александровский сад, торцовый фасад Манежа, старый университет, красивое здание Жолтовского, прививщего ренессанс к современным формам, Исторический музей и щусевский — не чета новому — торец гостиницы «Москва». Сама нерасчетливость богатырского размаха покоряет, такое по плечу только Москве.

Но апофеозом нашего путешествия стал обзор столицы со смотровой площадки Ленинских (Воробьевых) гор. Недаром же сюда приезжают новобрачные, и кисейная фата невест, подхваченная ветром, развевается над глубокой падью. Прекрасно спланирована сама площадка с балюстрадой, и как хорошо, что сохранили маленькую церковку с зелеными главками, будто печать в углу грамоты, дарующей милость, а грамота та — вся расстилающаяся внизу, охватная из края в край Москва. Чудесна крутая излука реки Москвы, огибающей территорию стадиона; великая причастностью к столице, но не ширью и обилием вод, река набирает здесь силу и упругость.

Думается, смотровая площадка помогла решению давнего и некогда ожесточенного спора — насколько уместны в Москве высотные здания. Я принадлежал к числу решительных противников этих полунебоскребов. Но, положа руку на сердце, как естественно и необходимо вписываются они в силуэт Москвы!

Более того, они-то и создают этот характерный силуэт, отлично уживаясь с златоверхим Иваном Великим, колокольней Новодевичьего монастыря и Меншиковой башней — старыми московскими вершинами. Вот это надо помнить, когда заходит речь о смелых нововведениях: то, что кажется неприемлемым сегодня, завтра может стать естественным как дыхание. Но случается и другое, об этом в своем месте…

И, вглядываясь в город, погрузившийся в дымчатую синь, предвестницу вечерних сумерек, и совсем забыв о милой, странной Грейс, вдруг запевшей что-то таинственное, как ночь ее родины, хриплым, волнующим, древним голосом, я тщился понять, мой ли еще этот город или я потерял его навсегда. Город, как и человека, можно потерять, не расставаясь с ним, находясь в каждодневном поверхностном общении. Я с болью почувствовал, что совсем не знаю эту новую Москву и даже боюсь ее. Боюсь, что она стала совсем другой и мне не уловить знакомых, родных черт и не связать настоящего с прошлым. Меня равно не устраивало в отношениях с Москвой ни холодное восхищение постороннего наблюдателя, ни брюзжание пронафталиненного старожила, цепляющегося за уходящую привычность. Мои дела с Москвой всегда были горячи.

Вот тогда я и принялся писать свои московские рассказовые циклы, думая прийти к Москве из дали воспоминаний. Писалось хорошо, увлеченно, прошлое оживало, но мне хотелось чего-то другого, а чего — и сам толком не понимал. Я воскрешал переулки своего детства, но ведь они стали другими, я же сторонился их нового образа. Все написанное ни на шаг не приблизило меня к сегодняшней Москве.

Выйти из тупика мне помог мальчик с рыжей головой, так напряженно и доверчиво припавший к окну, за которым влажно дышал весною мартовский мир московской окраины. Мальчик был изображен на плакате, оповещающем об открытии выставки художника Евгения Куманькова, которого я знал лишь как художника кино.

На выставке мне открылся новый Куманьков, для меня новый, ибо другим он был давно известен и как великолепный рисовальщик, и как интересный театральный художник, и как тонкий иллюстратор, хотя его рисунки к «Пиковой даме» остались в листах. Но главным открытием для меня стало, что Москва — ведущая тема графики Куманькова, Москва сегодняшняя, Москва уходящая, Москва наступающая, Москва в борении старого и нового, Москва, Москва, Москва… И всю очарованность Москвой он вложил в прелестного рыжего мальчика, своего сына…

И вот морозным, солнечным, синим днем я сижу в мастерской Куманькова и с жадностью, почти неприличной, насыщаюсь его рисунками, пастелями, темперами, изображающими Москву. И рыжий мальчик, его сын, выросший в рослого, стройного юношу с пастельно-нежным лицом, предлагает мне чашку черного кофе, приготовленного на электрической плитке, и рассеянно, обжигаясь, я пью этот крепкий кофе, а Москва глядит на меня с подрамников, со стен и стеллажей — вся мастерская, снизу доверху, набита Москвой.

Вот эту улицу я вроде бы хорошо знаю, но и не знаю вовсе, потому что лишь в детстве ходил по ней, а взрослым человеком проносился в машине к дому, где находился Гослитиздат. Она взята в удивительном ракурсе, который доступен лишь глазу художника, но никак не фотоаппарату с какой угодно оптикой. Громадное расширение переднего плана, будто раструб геликона, позволяет видеть особняк в стиле классицизма, построенный в самом начале XVIII века для князя С. Б. Куракина, а напротив — старинный дом, примыкающий к церкви Петра и Павла, стремительно сужаясь и словно всасывая вас, наблюдателя, как и черную машину, взлетающую на горбину улиц перед церковью. Новая Басманная, чередуя старину с нарядными домами начала века и современными гигантами, вовлекает вас в свою тайну. А в чем эта тайна? В озябших ли фигурах, бредущих под зонтами сквозь осеннюю морось, в манящем ли просвете на заднем плане, дарующем улице бесконечность, или это то, невыразимое словом, что сокрыто в сердце художника и дразняще сквозит в его творении? Если б картина, рисунок, скульптура полностью выговаривались словами, то к чему изобразительное искусство, достаточно было бы литературы…

А к этой темпере я возвращаюсь вновь и вновь. Название ее малопоэтично: «Дымы Могэса», но вполне соответствует содержанию: тут действительно очень много густого, пухлого, белесого дыма, валящего из труб Московской электростанции. Тут вообще очень много всего: дыма, зданий, объявлений, вывесок, автомобилей, отдельных и слипшихся в ком человечьих фигур на белизне непривычно плотного в Москве последних лет снега.

Обыденное и поэтическое так странно и вместе естественно сплелись в этой картине, что и угадав старый Балчуг, как-то отталкиваешь бедную угадку, ибо не фруктово-овощная палатка на переднем плане, вопреки вывеске, а ярмарочный павильон со всеми его яркими радостями, или звонкая карусель, или… зимняя купальня маркизы. Есть что-то от «мирискусников» в этом горячем, красочном пятне между двумя снегами — на мостовой и

на крышах. А дальше, за старыми домами с кокошниками над окнами — там булочная и хозяйственные товары, — возвышаются главки-луковички с золотыми крестами, а за ними, через все небо, взметнулось темное, подчеркнутое белыми морозными дымами Могэса готическое здание Котельнического высотного дома, удивительно уместное здесь, как и глухая стена справа с непременным призывом хранить деньги на сберкнижке, что «надежно, выгодно, удобно».

Поражает необыкновенная цельность этого разновременья и разностилья, цельность, не навязанная художником пейзажу, а уловленная им в характернейшем уголке Москвы, умеющей, как ни один город, объединять в нечто органическое срезы самых разных эпох. Вглядываясь в «Дымы Могэса», я начинал понимать что-то очень важное, без чего не мог бы вернуться к своему городу.

Легко находить красоту там, где она сама предлагает себя: в соборах, башнях, дворцах и теремах Кремля, Василии Блаженном, Новодевичьем монастыре, доме Пашкова, Юсуповских палатах, хотя это не значит, что затасканная многими художниками красота так просто поддается изображению. Тут кроме таланта и мастерства необходима выношенная, выбеленная душой и разумом художественная концепция. Куманьков создает не картинки Москвы, а бесподобный образ города, где прошлое переплетается с настоящим, где отчетливо проступают черты будущего и тихо, скорбно, порой преждевременно умирает старое. Это определяет не только выбор сюжетов, но и точку изображения, ракурс, манеру, стиль, колорит. И Василий Блаженный подается Куманьковым не в рост, как, скажем, собор Новодевичьего монастыря, а лишь сказочными своими главами, и этого достаточно для цели художника, которому здесь хочется лишь радости праздника. А в соборе Новодевичьего монастыря, сияющем белизной высоченных стен сквозь поросль старых деревьев, он дает образ неприступности, мощи юго-западной опоры Москвы. Ведь и сам монастырь обязан своим появлением не религиозному усердию московского государя, а победе русского оружия — освобождению Смоленска. В честь этого славного события он и был основан в начале XVI века.

Для воплощения этой идеи Куманьков привлек и надвратную церковь в глубине пейзажа, подчеркивающую, что собор включен в нечто большее, нежели он сам, и преувеличенные — с точки зрения ползучего здравомыслия — деревья, вымахавшие выше крестов. На самом деле эти березы не достигают и барабанов. Но художник взял пейзаж с нижней точки, от земли, и деревья, что были ближе к нему, нежели собор, взметнулись, стали

исполинами и не только не принизили храм, а вместе с ним унеслись в беспредельность — ни их верхушек, ни островершков крестов не видно, они за обрезом рисунка. На многочисленных фотографиях, без которых не обходится ни один путеводитель но Москве, собор кажется много, много ниже — вот чем отличается правда искусства от механического тождества.

Но особенно ценно умение Куманькова находить щемящую красоту там, где другой увидит лишь убожество и тлен. Я имею в виду чудесные старые домики, собранные Куманьковым в арбатских переулках, в Замоскворечье, близ Рождественского бульвара, — деревянные и каменные, маленькие, согбенные, порой сохранившие стать сквозь все выпавшие им на долю испытания, они так подлинны, так историчны и просто милы, что и самое черствое сердце не может им не откликнуться. Я не говорю даже о «Бывшем красавце», доживающем век на задах улицы Станиславского, обшарпанном, облупившемся, глядящем в грязный дворик с помойкой и железной бочкой из-под керосина; его изуродованный достройкой мезонин все еще излучает прелесть давно минувшего, опоэтизированного Кустодиевым быта. В этом рисунке меня занимает не только сам домик, но и тот мотив, который часто и, знать, не случайно повторяется у Куманькова: над домиком навис громадный строительный кран.

Этот кран со стальным тросом вносит жгучую тревогу в простое, бесхитростное изображение. Домик обречен, художник запечатлел его последние мгновения… Зарождение нового — всегда смерть старого, и никуда от этого не денешься…

Впрочем, я хотел сказать о другом. Что, казалось бы, привлекательного в корявой, ржавой, со слуховым оконцем крыше приземистого длинного здания, упирающегося в торец высокого, ничем не примечательного и довольно нелепого дома, поскольку за ним опять идут одноэтажные домишки? Правда, по другую сторону стоят два современных здания, одно из них очень похоже на Центральный телеграф, а в глубине зыбятся контуры высотного дома, но и это не скрашивает тусклого городского вида, погруженного в зимнюю хмарь. А хочется смотреть и смотреть на этот пейзаж, он влечет даже сильнее, чем «Бывший красавец» с пряничной и горькой прелестью.

Я долго пытался объяснить себе этот секрет, но ничего не получилось. Пейзаж грустноват и может совпасть лишь с печальной душой, я же увидел его в добрую, подъемную минуту жизни и все же не мог оторваться. И? — отказавшись от попыток обобщения, я вдруг понял, чем он трогает меня. Помните описание вида, открывавшегося из окна моего дома в Армянском переулке? Длинная крыша, объединяющая дровяные сараи,

черный двор, торец высокого соседнего дома и прямо напротив, в отдалении, главы церкви. Все так похоже на подсмотренное Куманьковым совсем в другом углу Москвы, даже смазанные очертания высотного дома — ни дать ни взять наш старый Никола. Вот этой щемящей схожестью и берет меня рисунок. Но он должен затрагивать и других людей, не пробуждая в них при этом столь точных ассоциаций детства. Все дело в его типичности, в его чисто московском духе. Такого не увидишь ни в Ленинграде, ни в Киеве, ни в каком ином городе, это сама Москва, неповторимая московская суть, в нагромождении каменных масс, в кривизне линий, в сплаве прошлого и настоящего, в прорыве из сумерек в свет. Рука художника лежала на самом сердце Москвы, когда он создавал свой пейзаж…

Я пишу это, уже зная о своей ошибке, — память и угадка изменили мне, я не узнал проезда Художественного театра и крыши МХАТа. Конечно, более проницательным людям прежде всего будет мил и трогателен неожиданный и непарадный вид старой мхатовской кровли. Но для тех, кто, подобно мне, не разберется в географии рисунка (почему-то кажется, что художник сознательно зашифровал адрес, предельно отстранив всем знакомый московский пейзаж), мое рассуждение остается в силе.

Густым московским духом веет и от других работ Куманькова: «Кривоарбатский переулок», «Угол Большой Молчановки». Если в первом купеческий дом с мезонином, перед которым стоит зачехленный автомобиль, еще сопротивляется времени, еще думает устоять, то дни второго сочтены, он и сам понял это и как-то схилился, а деревья растрепали над ним голые ветви, словно траурные ленты. Оба рисунка сильны духом Москвы, но в «Кривоарбатском» чувствуется желание удержать, сохранить, а в «Молчановке» — лишь желание отдать дань человеческому жилью, служившему долго и преданно, но изжившему свой век и вынужденному уйти. Хорошо, что Куманьков не льет жидких слез сожаления над каждым дряхлым зданием, в этом его мужество и честность, но и хорошо, что каждого ветерана он провожает добрым взглядом.

Грустную нежность вызывают эти дома: ведь они — частица московской жизни, чье-то детство и чья-то старость, их стены слышали смех и плач, слова любви и слова разлуки, отсюда уходили на войну, сюда же возвращались те, кому суждено было вернуться. И «похоронки» сюда приносили, и поздравления с праздниками, наградами, и судебные повестки. И вообще жизнь в маленьких, потемневших от лет, незнатных домах была полна и в радости, и в печали, мир их праху…

Вначале я думал, что Куманькова влечет главным образом уходящая Москва, и это казалось мне справедливым — кто-то должен сохранить в памяти людей черты, стираемые неумолимым временем, но потом я убедился, что это не так — интерес художника к Москве куда шире, а любовь умнее. У него острый, даже какой-то мучительный интерес к тому, какой станет Москва, он стремится заглянуть в ее завтрашний день. Потому так много строек в его рисунках, потому строительный кран — один из главных героев московского цикла. Картон может называться «Юго-Запад», но царит здесь громадный кран, перекрещивающий весь зримый мир своими ажурными конструкциями; может называться «Склады», являя неожиданную поэтичность плоских складских крыш, а эту несколько статичную красоту оживляет и будоражит гигантский кран, влекущий по воздуху балку; может называться даже «Памятник Пушкину» — Александр Сергеевич мужественно напрягается против грозно нависших стрел кранов. Новое здание «Известий» еще строилось, но Куманькову не терпелось увидеть, как соотнесется оно с памятником поэту, старинными фонарями. От рисунка веет пытливой тревогой, усугубляемой стаями мечущихся над кранами птиц. Целый лес кранов на картоне «Новые ритмы», настоящий лес с огромной луной за металлическими стволами, призрачно отбелившей стену новостройки.

Куманьков охотно возвращается к полюбившимся местам, создавая сходные, но не повторяющиеся сюжеты. Пастель «В мае» — знакомый нам рыжий мальчик, уже подросток, сидит на лавке, под деревом в первой весенней выпушке, и смотрит туда же, куда смотрел лет шесть или семь назад, — за железнодорожное полотно, за Сетунь, на кварталы подступивших к реке домов и далекое здание университета. Рядом с ним и чуть позади, трогательно повторяя его позу, сидит большая черная собака. Вырос мальчик, изменился и окрестный мир: Сетунь обрела набережные, из сельской заделалась городской, пустырь по эту сторону стал то ли парком, то ли сквером: деревья, скамейка. И хоть есть что-то потерянное, грустное в фигурах мальчика и собаки, но эта грусть — от слишком большой любви художника к мальчику: ведь любовь может лишь притворяться веселой, как и музыка, отстой грусти и там и там неизбежен. Но весь рисунок радостен, бодр, ибо на нем изображен мир, обретающий должную форму; исполнил свое назначение новый городской район — достиг реки и подчинил ее себе, исполнила свое назначение природа, вырастив эти деревья и этого мальчика, что так сосредоточенно смотрит на город, где ему жить, жить и жить…

Куманькову для выражения его раздумий и настроений

хорошо служат московские и подмосковные деревья, набережные, фонари, решетки парков и бульваров, афиши и плакаты, дымы паровозов и заводских труб, строительные конструкции и краны, пешеходы, автомобили и птичьи стаи.

Погрузившись в его мир, столь близкий некогда и мне, я мучительно затосковал по Москве, по ее прямым улицам и кривым переулкам, по ее площадям, набережным, мостам, по Кремлю и Красной площади, по Замоскворечью и Арбату, по бульварам и всему пространству моего детства, по церквам, башням, монастырям, деревянным домикам и респектабельным доходным домам, по стеклянным коробкам Ле Корбюзье и доморощенным новациям двадцатых годов, по современным башням, по ночной гулкости тротуаров, по розовым сумеркам рассветов и синему предвечернему сумраку, по своей детской душе, все еще бродящей Чистопрудными лабиринтами.

И я отправился в свое прошлое. Куманьков вызвался сопутствовать мне. Его огорчало, что он знает район Чистых прудов куда хуже, нежели Замоскворечье, Дорогомилово, арбатские переулки, Бульварное кольцо от Кропоткинской до Сретенки, не говоря уже о центре. И хотелось ему взглянуть на дом, выходящий сразу на три переулка, о котором я столько нагородил и устно, и письменно.

Гете говорил: вдвоем призрак не увидишь. Но я был убежден в безграничной власти былого над своей душой и не боялся помехи. Приди я вдвоем с тихим, сосредоточенным в себе художником или с шумной компанией приятелей — милые, не зримые другими тени зареют перед моими покрасневшими глазами, и коснутся слуха беззвучные для чужих ушей голоса, зазвонят нежные колокольчики, всхрапнет гривастый битюг, заворкуют голуби на крыше дровяного сарая. Я только предупредил Куманькова, что небольшой пожар, случившийся месяца два назад, слегка опалил верхние этажи дома со стороны Сверчкова, пусть уж не посетует на малый беспорядок.

Приехали мы в Армянский переулок — все-таки, по старой неистребимой памяти, здесь виделось мне лицо дома, несмотря на все перемены, о которых рассказывалось выше. И тут постиг меня первый удар. А ведь я слышал, что дом перешел в ведение Министерства лесного хозяйства, но не связывал с этим каких-либо перемен в его облике. Я жестоко заблуждался. От дома остались лишь мощные, будто крепостные, в серой «шубе», стены. Весь выпотрошенный изнутри, он слепо и нищенски пялился пустыми оконницами. Есть вещи, которых я никогда не пойму. Выселенных обитателей этого великолепного, теплого, с прекрасной изоляцией, надежного во всех узлах жилого дома

обеспечили новыми квартирами, по площади не уступающими прежним. Так почему бы не оставить их на старом месте, а лесникам дать другое помещение? Никто не убедит меня в разумности подобных мероприятий. Зачем выселять людей из насиженных гнезд, обжитых еще их дедами, чтобы теплое, семейное затопил учрежденческий холод? Даже если в этом есть какая-то материальная выгода. Негоже великому городу заниматься мелочной бухгалтерией.

Мы побрели в Сверчков переулок, где, ахнув перед бывшей прачечной на углу Девяткина, Куманьков и глазом не повел на следы пожара, и плечом к плечу ступили в подворотню, глядевшую на мое каменное присадистое крыльцо. Я шел, а голоса молчали, и стылый пустой воздух не забился промельками милых теней; тупая тишина давила на барабанные перепонки, но, может быть, дело во мне, это я перестал слышать отзвень минувшего, мои глаза зрячи лишь к грубым вещественным очевидностям? Мы вышли из полутемной подворотни в ликующий свет, неправдоподобно и странно заливший круглый сумрачный дворик. Но не было дворика, был кран пустыря, распахнувшегося перед нами ошеломляющей жесткой голубизной морозного неба. Та часть дома, где стояло наше крыльцо, где на третьем этаже находилась наша квартира, было пустое место. И, глядя в чудовищный проем, я вдруг усомнился, что на этом месте действительно творилась моя лучшая жизнь и жизнь моих друзей, что была громадная квартира деда, которую у нас с убыванием семьи — в смерть и в отъезд — по комнате отбирали, что там поселились два великих клана: тихий, работящий — Поляковых, буйный, гулевой — Рубцовых, что вслед за ними въехала цветочница Катя — голуба-душа, что напротив обитал Борька Портос, а на этаж ниже мой первый друг, мой друг бесценный Павлик, и на одной площадке с ним красавицы сестры Козловы. Мне, как, наверное, всем жившим в доме, незыблемым казался строй и лад этого густого существования, над которым и смерть не властна, ибо на смену уходящим подрастали новые граждане. Я стоял, смотрел в синюю пустоту, в которой навсегда сгинули детство и отрочество, и так же пусто было у меня на душе.

Зимой я ловил рыбу на Учинском водохранилище, и, как оказалось, над тем самым местом, где прошумели мои дачные годы. Подо льдом, в темной воде, знать, еще доживала величественная акуловская дача. На протяжении последних месяцев я лишился матери и отчима, сейчас не стало места моего начала. Боже, как богат был я еще недавно и как нищ стал сейчас! Я — словно несчастный герой Шамиссо, лишившийся тени. Еще недавно мое бытие долгой вечерней тенью простиралось в

прошлое, сейчас мне не на что отбросить тень.

Да, тяжело началось мое возвращение в родной город. И — незадачливый паломник — я присел обочь дороги, дабы перевести дух и собраться с силами. Они мне весьма понадобились.

Я шел путем детства: от Телеграфного переулка по Чистым прудам, улице Чернышевского, на улицу Карла Маркса, к Разгуляю. Ах, Разгуляй! Как чудесно, лихо, истинно по-русски звучит это слово. Видать, крепко гуляли здесь, под стенами Москвы, за Земляным городом, гуляли от всей души, от всего сердца, как в городе не погуляешь. Недаром же богатырская гульба перешла в название места, которое помнится всем московским старожилам. Ныне Разгуляй не существует, ни улицы, ни площади.

От Разгуляя я свернул к Гороховской, почему-то переименованной в улицу Казакова, именно здесь не построившего ни одного здания, и взял путь к Лефортову.

Лефортово по эту сторону Яузы разворочено, разбито, какие-то овраги, пади, будто ты и не в Москве даже. И дело не в том, что Лефортово стало сплошной строительной площадкой, подобно, скажем, Теплому Стану. Строить тут, конечно, строят, как и повсюду в столице, но не деловой сумбур стройки определяет лицо правобережного Лефортова, а запущенность.

Оказывается, и детская память, кажущаяся такой стойкой и прозрачной — ведь мы неизмеримо лучше помним даже незначительные события младых лет, чем куда более важные — зрелой поры, а тем паче поры увядания, — далека от совершенства, в ней тоже образуются провалы, замутнения.

Я начисто забыл, что рядом с бывшим Слободским дворцом (старое здание МВТУ имени Баумана) находится другой дворец, исторически еще более интересный. Этот дворец построил по царскому повелению каменных дел мастер Аксамитов для «первого таланта и французского дебошана», хотя он был швейцарец, Франца Лефорта, открывшего Петру I очи на Запад и помогшего окончательному отвращению юного царя от боярской старины. После смерти Лефорта дворец перешел к князю Меншикову, приказавшему архитектору Фонтана пристроить с улицы каменные корпуса с торжественным въездом.

Впрочем, слово «сохранившийся» не очень подходит к обветшалому, облупившемуся, дышащему на ладан зданию, по виду заброшенному, хотя в нем помещается какой-то архив. Парадный двор, куда я проник через проходную, приютившуюся у «торжественного въезда» и случайно оказавшуюся пустой, являет собой картину былой красоты на мерзости запустения. Но второй

двор, глядящий на Яузу, просто мусорная свалка. Именно с этой стороны можно попасть в подъезд, где якобы сохранилась лестница Матвея Казакова. Но я туда не попал: меня окружили какие-то бдительные люди и стали домогаться, как да зачем оказался я здесь. Я объяснил, показал документы, сообщил о невинной цели своего вторжения, но не смягчил суровых стражей. Чего они боялись? Что я похищу стратегический план Скобелева или победную реляцию времен турецких войн? «Братцы; — взмолился я, — бросьте вы эту чепуху, скажите лучше, как вы позволяете разрушаться эдакой красотище?» — «А что мы можем сделать? — угрюмо отвечали братцы. — Говорят, денег нет. Только на текущий ремонт хватает, а это — что слону дробина. Здесь подмазали — там отвалилось. Коли так дальше пойдет, останутся одни руины…» Человеческая интонация была найдена, но это не помешало моим собеседникам дать жестокий нагоняй вахтерше, по недосмотру которой я проник во двор.

Невеселые эти впечатления меркнут перед тем, что выпало мне на долю в Кирочном переулке. Я ринулся туда с сильно бьющимся сердцем, поверив путеводителю, что под номером шесть сохранился дом Анны Монс, возлюбленной Петра, к тому же еще построенный в «типичном для конца XVIII века стиле московского барокко». Шутка сказать: я увижу дом, куда, охваченный любовью и нетерпением, в дождь, в метель, в пургу мчался из Преображенского юный Петр.

Эта любовь, очаровательная Анна Монс, ее окружение, незаурядные обитатели слободы, потянувшиеся на царскую приманку, бесконечно много значили для формирования взглядов, характера, всей необыкновенной личности будущего преобразователя России. Отсюда, можно сказать, пошла новая русская государственность. И если в этом утверждении есть некоторое преувеличение, то лишь дозволенно-метафорическое.

Долго и тщетно разыскивал я дом № 6 в недлинном, узком, склизко-грязном переулке. И снова подумал, как влекла царя нежная, пухленькая девушка, если он каждый вечер, рискуя свернуть себе шею, потонуть в невылазной грязи, пробирался к ее дому. Да неужели не мог он переселить ее в порядке улучшения жилищных условий? Впрочем, в ту далекую пору иноземная слобода, называвшаяся Немецкой, хотя тут жили дети разных народов, поражала путешественников благоустроенностью, нарядностью и чистотой.

Дом как сквозь землю провалился: вот тут ему стоять, если он действительно носит шестой номер. А его нет. Неужто врут не только календари, но и московские путеводители?

В глубине двора я приметил дворничиху в ватнике,

резиновых сапогах и соломенной шляпе горшочком, обмотанной поверх шерстяным платком. Она прислонилась спиной к обшарпанной и словно закопченной стене какой-то развалюхи и курила, часто и жадно поднося сигарету к ярко накрашенным губам. Свободной рукой она сжимала лом для скалывания льда.

— Простите, вы не знаете, где тут дом Анны Монс?

— Я не здешняя.

Типичный московский ответ, в данном случае совершенно бессмысленный. Пусть ты не здешняя уроженка, но коль здесь живешь и работаешь, то должна же знать свой переулок, свой двор. Но быть может, она вкладывала в ответ иной смысл — не здешняя. Что, если это сама Анна Монс (несколько подпорченная временем), явившаяся прибрать гнездышко своей бессмертной любви, но желающая сохранить инкогнито?

— Да вы, наверное, слышали: Анна Монс, дочь пастора Монса… Петр так любил ее!.. — лепетал я.

— У нас, гражданин, таких нету, — сурово до враждебности отрезала дворничиха, с силой выдыхая из ноздрей дым.

Похоже, она видела что-то оскорбительное для своей женской чести в моей назойливости. Я это понял и отступил.

Уже выйдя в переулок, оглянулся и увидел угол маленького полуразвалившегося дома — в небольших полуколоннах, украшавших этот изящно скругленный угол, в наличниках двух прекрасной формы окон из-под слоев грязи, будто из затемнения, проступила прелесть московского барокко. Я не сразу сообразил, что это другая часть того самого дома, к которому прислонилась не ведавшая об Анне Монс дворничиха. Дом утратил и последние признаки стиля, который еще называют «нарышкинским барокко» — по родне царя Петра. Но ведь отремонтировать такой домишко по силам кучке студентов-энтузиастов. Я видел таких ребят в Поленове, они умело и споро восстанавливали довольно большую и крепко разрушенную церковь.

Мы во многом виноваты перед своим городом. Снесли Сухареву башню, Красные ворота и многое, многое другое. Хорошо помню, как снесли в угоду городскому транспорту церковь на углу Покровки и Потаповского. Достоевский, проезжая мимо нее на извозчике, всякий раз выходил и благоговейно озирал дивное «дело рук человечешки Петрушки Потапова». Галерея церкви вдавалась в узкую мостовую Покровки и действительно мешала извозчикам. Повергли «нарышкинское барокко», московский Нотр-Дам, и на освободившемся месте открыли летнее кафе с зонтами. Лишь перед войной кафе несколько отодвинули в глубь пустырька. А ведь можно было отодвинуть храм или ограничиться сносом галереи. Возможны

были любые решения, но выбрали простейшее и наихудшее. Столь же аргументированно снесли в свое время Триумфальные ворота, а через десятилетия столь же аргументированно восстановили, пусть и на другом месте. В первом случае все дружно молчали, во втором столь же дружно ликовали.

А вот ленинградцы не молчали, когда в преобразовательном азарте махнули Перинную линию вместе с дивным портиком. Они подняли такой шум, начисто пренебрегая вескими и ничего не стоящими аргументами, что портик талантливого зодчего Алоизия Руски тут же восстановили. Вот еще пример настоящей, действенной любви к своему городу.

Мы, москвичи, такой любовью похвастаться не можем. Мы от души радовались, что на развилке проспекта Калинина и улицы Воровского оставили белую церковку с зелеными главками, так трогательно вписавшуюся в наисовременнейший пейзаж. Но мы спокойно смотрим, как разрушаются стены и трапезная Симонова монастыря. А ведь этот монастырь — прежде всего оборонительное сооружение, крепость, и мы знаем, чего он стоит как произведение русского гения. Его стены и башни построены Федором Конем.

Да и кто связывает сейчас культовые постройки с религией? К ним относятся точно так же, как к дворцам, башням, палатам, воротам и другим сооружениям, доставшимся нам от прошлого, ценят в них красоту искусства, исторический смысл. Так почему бы не восстановить уцелевшую часть Симонова монастыря? Сейчас его дряхлое тело добивают бесконечным содроганием механизмы фабрики «Все для рыболова-спортсмена», в проломы стен по трубам ссыпают бамбук для удочек.

И зачем цементный заводишко покрывает слоями едкой пыли уцелевшие строения Ново-Спасского монастыря, где ведутся вялые восстановительные работы? Ново-Спасский монастырь — боевой соратник Симонова — уже сейчас привлекает толпы любопытных. Стены и башни его, частью сохранившиеся, частью наращенные заново, приближаются по своим формам к бастионам XV столетия; великолепен главный собор, внутри его сквозь копоть веков проглядывают фрески. На заброшенном и сгинувшем монастырском кладбище, возле колокольни, уцелело надгробие монахини Досифеи — дочери Елизаветы Петровны и графа А. Г. Разумовского. За эту жертву морганатического брака выдавала себя знаменитая авантюристка княжна Тараканова, хорошо всем нам известная по картине Флавицкого в Третьяковской галерее. Есть и величественная трапезная, и строгая Знаменская церковь, построенная учеником прославленного Баженова Е. Назаровым, — усыпальница рода

Шереметевых. Там находится надгробие дочери создателя Останкина Н. П. Шереметева и крепостной актрисы Параши Ковалевой-Жемчуговой, которую влюбленный в нее граф в нарушение всех сословных уставов сделал своей женой и чью безвременную кончину оплакивал до конца дней. Эта необыкновенная любовь породила множество стихов, песен, легенд. Вот сколько чудесного скрывается за старыми стенами!

И отрадно, что забота и бережность уже коснулись замшелой обители: реставрируются стены и башни, из усыпальницы Шереметевых выдворили хорошо прижившийся там вытрезвитель, а из часовенки-надгробия инокини Досифеи убран дворницкий инвентарь.

К сожалению, куда меньше повезло гробнице героев Куликовской битвы, братьев-иноков Осляби и Пересвета, находящейся в церкви Рождества в Старом Симонове, бесценном памятнике русского зодчества начала XVI века. Со смертной сшибки витязя-чернеца Пересвета с татарским богатырем Челубеем и началась великая битва, где русская рать впервые распластала степняков. Ныне в обезглавленной церкви над священными костями героев дребезжат механизмы какой-то мастерской.

Что же, я за сохранение любого московского старья, любой ветоши только потому, что она освящена временем? Нет, ни в малейшей мере. Москва никогда бы не стала современным мировым городом, если б по-плюшкински тряслась над каждым окаменелым сухарем прошлого. Коренная реконструкция была необходима. Причина этого — в самой истории Москвы.

Москва строилась без плана и расчета, как Бог на душу положит. История ее возникновения теряется во мгле благочестивых легенд или темных, но имеющих под собой историческую основу преданий. Первое достоверное сведение о Москве относится к 1147 году, когда, приглашая своего союзника — князя Новгород-Северского Святослава Ольговича, Юрий Долгорукий обещал ему «обед силен», что так восхищало Бунина. С этой даты и повелся счет летам Москвы, а великий князь киевский Юрий Владимирович, прозванный Долгоруким (вон куда рука его протянулась!), обнесший малое сельцо в устье Неглинной деревянной городьбой и рвом, удостоился в потомстве звания основателя Москвы и конного памятника.

Через сто лет деревянная крошечная Москва стала стольным княжеским городом, а в 1327-м Иван Калита, загребущие руки, сел здесь на великое княжение, с него Москва начала широко и крепко строиться. Но лишь при Дмитрии Донском, разбившем рать Мамая и положившем начало освобождению Руси от

татарского ига, обстроилась Москва каменным Кремлем. Вспоминаются замечательные слова В. Ключевского: Москва зародилась не в скопидомском сундуке Ивана Калиты, а на поле Куликовом. Он разумел Москву не просто город, а Москву — идею, Москву-Русь.

За каменным Кремлем город долго оставался деревянным, вплоть до Ивана III, если, конечно, исключить несколько грубых каменных церквей. Иван III призвал знаменитых итальянских мастеров: Аристотель Фиораванти построил Успенский собор, Марк из Венеции — Грановитую палату. Одновременно с этим шло обновление и украшение кремлевских стен. Знаменитый историк Москвы И. Забелин пишет: «Старые стены, значительно обветшавшие от времени и от многих пожаров, теперь уже не удовлетворяли новым требованиям и могуществу государственного гнезда, каким являлся этот ветхий Кремль. А величественный собор Успенский как бы указывал на необходимость окружить его достойным венком новых сооружений». И начинает создаваться тот Кремль, который гордо стоит и ныне посреди Москвы и служит символом нашей страны, ее несокрушимой мощи.

По правилам тогдашнего фортификационного искусства все строения, включая церковь, расположенные ближе ста пятидесяти сажен от стен, были снесены. Согласно тем же правилам было расчищено и Замоскворечье, уже сильно застроившееся. Москвичи дружно возмущались, что подняли руку на святую старину, считая эти новшества чуждыми исконному облику Москвы. Возьмем на заметку: в исходе XV века перестройка Кремля уже вызывала осуждение.

Москва строилась, правильнее сказать — росла, ибо тут отсутствовал какой-либо сознательный расчет, концентрическими кругами. Как и всегда, возле крепости возник торговый посад, получивший прозвание Китай-города — от киты, веревки из травы, соломы или хвороста, столь погребной в торговле. Этот город с торговым центром — Красной площадью, с деревянными, реже каменными лавками, лабазами и амбарами, купеческими дворами, домами и домишками посадского и тяглового люда, соборами и церквами потребовал защиты и был обнесен Китайгородской стеной. Переулки Китай-города создавались стихийно, в запутаннейшем лабиринте их терялись даже старожилы.

Издавна на север и восток от Кремля потянулись дороги, в XVI веке на них стали слободы ремесленников: Плотничья, Поварская, Печатная, необходимые для жизни сильно выросшего города, и при кротком Федоре Иоанновиче тезка его Конь объял

новый круг Москвы Белым городом, просуществовавшим до дней «богоподобные царевны Киргиз-кайсацкие орды». При Фелице — другое льстивое наименование Екатерины II в одической поэзии Державина — обветшавший город снесли и по линии его разбили бульвары. Внутри Белого города порядка — о плане и говорить не приходится — было еще меньше, нежели в Китай-городе; слободы чередовались с пустырями, болотами, каждый строился по своему достатку и «ндраву», мог перегородить намечавшуюся улицу домом или усадьбой, превратив ее в тупик, мог застроить уже обозначившуюся площадь.

Следующие пояса — Земляной и Камер-Коллежский (второй, как уже говорилось, обязан своим происхождением не нуждам обороны, а исконному веселию Руси) — ничуть не изменили хаотического облика города. Порой предпринимались попытки упорядочить строительство в Москве, но и самые строгие царские указы, даже скорого на расправу Петра I, изнемогали в московской расхлябанности. Более действенными оказывались пожары. Москва горела то и дело: от неприятеля, от бунтов, от копеечной свечки, от дурных печей, по пьяному делу — и на погорелье отстраивалась в большем порядке.

Поворотным пунктом в московском градостроительстве надо считать XVIII век. После упадка и запустения, вызванного возведением на чухонских болотах Северной Пальмиры и насильственным переселением в молодую столицу дворян, ремесленников и работных людей, Москва начала подниматься с восшествием на престол дщери Петровой — развеселой Елисавет. На радостях, что кончились бироновщина и гнет иноземного засилья, московское купечество воздвигло Красные ворота в конце Мясницкой, в Земляном валу. Поборы стали меньше, облегчилась дворянская служба, исчез страх, перед самодурством временщиков, и в Москву потянулось знатное дворянство: Шереметевы, Юсуповы, Долгорукие, Голицыны, Трубецкие, Волконские. За ними двинулось среднее и мелкое дворянство. Застройка Москвы пошла с невиданным размахом. Меняется лицо и Белого и Земляного города. С усадьбами знати и красивыми особняками дворян помельче соперничают добротные стильные дома купцов. Москва стала куда пригожее, наряднее.

В XVII веке путешественников поражал контраст между тем впечатлением, какое производила Москва издали: сияющие сорок сороков, купы зеленых садов, и тем, что ошеломляло вблизи: теснота, убожество, грязь и вонь кривых улочек, где в беспорядочном нагромождении жалких деревянных лачуг вдруг распахнутся хоромы какого-нибудь боярина или взлетит к небу бело-розовая колокольня. Любопытно, что в ту пору храм Василия

Блаженного был так застроен лавками, лавчонками, торговыми рядами, что даже москвичи не знали, какое диво дивное таится на их главной площади.

В XVIII веке Москва стала хороша не только издали. Выросло множество превосходных зданий и светской, и церковной архитектуры. Здесь показывают свое искусство и московская школа: Баженов, Ухтомский, оба Казакова, Еготов, и петербуржцы: сперва палладианец Кваренги, позже Стасов. Пышное барокко уступает место строгому классицизму. Но в ансамбле Москвы оба стиля мирно соседствуют. И все же улицы по-прежнему узки и нестройны, большей частью не мощены, изломанные переулки темны и опасны. От той поры до наших дней дожили разные Кривоарбатские и Кривоколенные, но сейчас их излучины вызывают даже умиление, как безобидные причуды минувшего.

Сокрушительный пожар 1812 года не только ускорил уход неприятеля из первопрестольной, но и способствовал ее обновлению. Городскую усадьбу, расположенную в глубине двора, сменили ампирные особняки, выходившие фасадом на улицы и тем помогшие выпрямлению их. Многие кривые переулки, спаленные до основания, больше не восстанавливались, что тоже способствовало распутыванию московского клубка, напоминавшего лабиринт критского царя Миноса.

В середине прошлого века был построен Большой Кремлевский дворец, о котором историк Никольский через полвека писал с неутихающей горечью: «…должно отметить постройку Большого Кремлевского дворца, огромнейшего здания полуказарменного типа, при сооружении которого были безжалостно уничтожены и старинная церковь Иоанна Предтечи, и царские хоромы XVII века, и дворец Елизаветы, построенный Растрелли; остатки старинных теремов и палат были при этом загорожены и спрятаны за новой громадой». Запомним это…

Вторая половина XIX века и начало XX внесли свои черты в облик Москвы, характерные для тех социальных и общественных сдвигов, что происходили в русском обществе. Не будем вдаваться в подробности, скажем лишь, что стык веков оказался плачевным для московского зодчества, в котором возобладали псевдорусская манера и модерн, выродившийся вскоре в декадентство.

Куда лучше был скучный и сугубо деловой стиль, возникший как здоровая реакция на претенциозную эклектику и давший Москве много хороших жилых домов и административных зданий. Но меня сейчас интересует не столько архитектура, сколько город в целом, в совокупности его жизненных артерий — улиц, переулков, бульваров, проездов. И в этом смысле Москва

осталась вполне азиатской. Известный славянофил Константин Аксаков таскал всех приезжавших в Москву на Воробьевы горы и со слезами восторга и умиления показывал расстилающийся внизу город, тонущий в зелени, с сотнями горящих золотом куполов и крестов. А когда приезжий, особенно чужеземец, а также петербуржец или киевлянин, спускался вниз, Москва очаровывала его несхожестью ни с каким другим крупным европейским городом: каменная, но больше деревянная, с дивными площадями и вонючими переулками, с благолепными храмами и вросшими в землю церквушками, с европейским центром и трущобами Зарядья, Хитрова рынка, Трубы, с Английским клубом и косным бытом рогожских старообрядцев, с роскошью и нищетой, бархатом и лохмотьями. Залетный гость, замирая от восторга, бродил по кривым улочкам, карабкался навздым где-нибудь в пределах Трубной или Рождественского бульвара, валился с откосов Лефортова, вдыхал душно-сладкий, ладанный дух бесчисленных церквей и тленный ток из подвалов дряхлых домов, не без тайного высокомерия дивился странному городу, мнящему себя европейцем и успешно подражающему западному лоску в районе Петровки или Кузнецкого, а в целом — варвару, дикарю. Для стороннего наблюдателя любопытны и радостны были даже недостатки, пороки Москвы, но не для коренных жителей города. Вот такой досталась Москва победившей революции, безмерно живописная, диковинная и ни в коей мере не соответствующая званию столицы первого в мире социалистического государства.

Законсервироваться в своем старом облике может небольшой город музейного склада, вроде Эйзенаха, Веймара, Дубровника, Брюгге. Венеция — особая статья, географическое положение определяет ее верность раз созданному облику. Но здесь речь идет о великом городе, столице самого большого государства в мире. Ясно, что Москва нуждалась не в частичной перестройке, а в капитальной реконструкции. Горячее и нетерпеливое стремление создать новый облик Москвы, стереть следы ненавистного прошлого опережало материальную, техническую и моральную подготовленность преобразователей к выполнению этой большой и трудной задачи. Потому и наломали столько дров в двадцатые и тридцатые годы, об этом уже много говорилось, и не стоит выходить на собственный след. Но я ничего не сказал о тех порой наивных, порой дерзких, смелых попытках создать новый строительный стиль, что делались уже тогда, в заревую пору.

Конструктивизм оставил нам несколько построек, удивляющих своей нелепостью: клуб завода «Каучук», клуб имени

Русакова на Стромынке, их построил архитектор Мельников, принадлежавший к тем пророкам, которых сограждане побивают каменьями. Эти здания не понравились сразу, без привычки был бетон как основной строительный материал, да и отвращала жесткость линий, не соответствующая мягким контурам московских строений. Мельникову все же знали цену, именно ему поручили построить советский павильон на Парижской выставке. А потом его взяли в оборот. Он обиделся, замкнулся, возвел себе дом в виде короткой толстой трубы в Кривоарбатском, начертал на нем: «Дом архитектора Мельникова» (и дом, и надпись сохранились) — и, прожив очень долгую жизнь, ушел, ничего более не создав.

Неизмеримо лучшее впечатление оставляют тоже не больно порадовавшие москвичей в пору своего возникновения стеклянные дома Ле Корбюзье и его последователей. Я был мальчишкой тогда, но хорошо помню обывательское брюзжание по поводу их прозрачной нелепости и что зимой, мол, там холодно, а летом нестерпимо жарко. Над этими домами долго потешались и не заметили, что все новые здания, все эти стеклянные кубы, параллелепипеды, башни создаются по канонам Корбюзье.

Несмотря на все потери и промахи, общее направление было правильным, необходимым, подсказанным временем, ростом значения Москвы в мире. Наша столица не могла оставаться экзотическим курьезом, ублажающим «гордый взор иноплеменный». И расширялись, выпрямлялись улицы, прокладывались новые магистрали, распахивались площади, логика прививалась хаосу лабиринтовой путаницы, строилось великолепное московское метро.

Один из старых историков жаловался: Москва — единственный первостатейный европейский город без главной улицы, ибо нельзя считать таковой ни кривую, узкую, некрасивую Тверскую, ни короткий и горбатый Кузнецкий мост. У Москвы есть главная площадь — Красная, но нет главной улицы. Сейчас, когда перед глазами возникает улица Горького, такое заявление звучит диковато. Но старая Тверская — разве могла она идти в сравнение с Невским проспектом или Крещатиком? Мы все равно любили ее, узкую, задавленную домами, в пронзительной трамвайной звени, запруженную толпами пешеходов в часы пик и в праздники. Перестроили же эту улицу по тем технически скудным временам на редкость быстро и умело. Действовали методом сохранения, а не разрушения: все крепкие, казистые, хотя и заурядные, дома по правой от Охотного Ряда стороне отодвинули, а перед ними поставили внушительные,

выдержанные в одном стиле мордвиновские дома. Архитектор Чечулин надстроил и несколько видоизменил фасад Моссовета, что тоже вполне законно — бывший дом губернатора оказался бы карликом на выросшей улице. Помню, тогда сокрушались: надо же поднять руку на творение Матвея Казакова! А между тем история московского зодчества полна сходными примерами: Казаков перестраивал Баженова, Жилярди — Казакова, в Лефортове Кваренги украсил колоннадой лоджию Екатерининского дворца, построенного Бланком по проекту Ринальди, и тем не просто видоизменил, но, по существу, создал новый облик дворца, а крепостной архитектор Аргунов смело правил самого Кваренги при строительстве Останкинской усадьбы.

Москва получила свою главную улицу: широкую, светлую, мощную, в современный строй которой хорошо вписывался старый Английский клуб, Музей Революции. Как жаль, что высоченная башня новой интуристовской гостиницы сломала ее гармоничный силуэт! А еще жаль, что Пушкина переставили: раньше он имел за плечами перспективу лучшего московского бульвара, то зеленого, то огнисто-золотого, то снежно-белого, а сейчас — кинотеатр с аляповатыми афишами.

В последние десятилетия Москва строится целыми микрорайонами, нередко каждый стоит целого города. Но мне хотелось бы сказать об одной новой улице, вернее, даже о части улицы, которую мы называем Новым Арбатом: отрезок Калининского проспекта от Арбатской площади до Садовой. Конечно, жаль Собачью площадку, сгусток старой Москвы, где что ни дом — история, но все же так хорошо, что появился в Москве, в ее центре, такой наисовременнейший проспект! Недаром же он сразу стал любимцем молодежи. Здесь бьются резкие ритмы сегодняшней жизни, здесь самые вызывающие прически, самые короткие или самые длинные (смотря по моде) юбки и дубленки, самые широкие джинсы, самые запущенные бороды на полудетских лицах, здесь труднее всего распознать, кто есть кто, здесь самые шумные кафе, дансинги, рестораны. Это главная улица московской молодежи.

Но можно ли всю новую или обновляемую Москву построить на уровне Калининского проспекта? Думаю, что нет. У страны есть другие насущные задачи: развивать Сибирь и Дальний Восток, строить Байкало-Амурскую магистраль, осваивать космос, помогать отсталым странам — перечислять можно без конца, и все это заставляет поступаться эстетическими канонами при строительстве жилых массивов. Тем более что строить надо быстро и очень много. Подвалы столичных домов давно опустели,

но еще немало жителей ютится в коммунальных квартирах, лишенных современных удобств. У них одно стремление — скорее перебраться в отдельную квартиру нового комфортабельного дома. Такому гражданину не до высокой эстетики. И с его требованиями необходимо считаться.

Это явление отнюдь не московского, а мирового порядка. Вокруг столиц, да и вообще старых больших городов вырастают кварталы, точнее, пояса новых громадных жилых домов стандартного типа. Как ни напрягайся, а стандарта тут не избежать, ибо только типовое строительство делает возможным массовое расселение. Конечно, шведам проще, во всей стране жителей вдвое меньше, нежели в одной Москве. Они не воевали с наполеоновских времен, только копили богатства, наживаясь на чужих войнах. Стокгольм разгружается за счет чудесных городов-спутников, каждый из которых являет единый ансамбль. У нас такие города тоже есть, и, скажем, Зеленоград, умело вписанный в подмосковный лес, выдержит любое сравнение. Но города-спутники — особая тема, а мы говорим сейчас о кольцах новостроек вокруг старого ядра города.

К моему сельскому жилью ведет из центра несколько дорог, и если я еду машиной и не сижу за рулем, стоит мне задремать, задуматься, просто закрыть глаза, то на выезде из Москвы уже не понять, какой путь избрал водитель и что вокруг — Черемушки или Юго-Запад, Ленинский или Комсомольский проспект. Улицы новых районов лишены лица, а здания, их образующие, — отличительных черт.

И вот о чем мне думается. Переехал коренной москвич из опостылевшей до скрежета зубовного общей квартиры в новый типовой дом где-нибудь в Теплом Стане, или в Беляево-Богородском, или Бирюлеве, посетовал для порядка на отдаленность нового жилья от центра, потом выяснил, что до метро четверть часа на автобусе или троллейбусе, успокоился и целиком отдался не изведанной прежде радости изолированного и независимого от соседей бытия. А затем у этого счастливчика рождается сын, которого, как положено, сперва отдают в ясли, потом в детский сад, наконец посылают в расположенную поблизости школу. И растет парень в своем микрорайоне, где есть и кино, и клуб, и парикмахерская, и пошивочная, и сапожная мастерская, и библиотека, но этому парню нечем гордиться, как гордились мои сверстники «своим» «Колизеем», «своей» гробницей Морозова, «своими» Юсуповскими палатами, «своей» Меншиковой башней, «своими» Покровскими казармами, — жизненный обстав юного гражданина нового микрорайона лишен какой-либо характерности, особости, он такой же, как у всех.

Безликое, неотличимое от фона трудно любить. А ведь с любви к своему дому, двору, голубятне начинается любовь к своей земле, та любовь, что в годину испытаний оплачивается кровью и самой жизнью. Но чем будет питаться такая любовь в безликости новостроек? Штамп нельзя любить. Человеческая личность закладывается в детстве, от детских впечатлений, наблюдений, переживаний во многом зависит, каким станет человек. В смазанности окружающего трудно ощутить и собственную индивидуальность. Парень из Армянского переулка был особый парень, и чистопрудный — особый, и покровский — особый, и потаповский — особый. А этот, из микрорайона, каков он? Общий, как все, — стало быть, никакой. Я не знаю, что тут можно сделать, но сделать надо.

Может, следует призвать на помощь растительный мир? Если бы наряду с непременным озеленением — высаживанием в асфальт чахлых тополей и лип — каждый дом сам себя декорировал, причем силами добровольцев-жильцов, выбирающих на свой вкус ель или пихту, лиственницу или сосну, березу или клен. А во дворах могли бы цвести сирень и жимолость, жасмин и рябина. Удивительных эффектов добиваются сейчас в мире с помощью вьющихся растений: дикого винограда, плюща, вьюнка. Ими окутывают стены не только коттеджей, но и самых высоких домов. Проводятся городские конкурсы на лучшее украшение дома вьющимися растениями. Я не раз любовался удивительными многоцветными композициями из дикого винограда и плюща, превращающими самые заурядные дома в чудо. Цветы тоже могут придать скучным обиталищам прелесть и своеобразие. И легко себе представить, как вокруг клумб с тюльпанами, флоксами, гвоздиками, лилиями, пионами, георгинами, золотыми шарами развивается благородное соперничество, женщины отвлекаются от сплетен, мужчины от «козла», а ребятня от хулиганства…

Надо сказать, что самих строителей тревожит одуряющая безликость неотличимых серых коробок, вырастающих, как грибы после солнечного дождя, на окраинах Москвы, и они пытаются внести некоторое разнообразие, декорируя балконы красными, желтыми, зелеными пластиками. Это было бы красиво, если б не удручающее качество красок: ныне же грязно-розовые, бурые и плесневые полоски лишь уродуют здания, не доставляя ни малейшего эстетического наслаждения.

Возможно, мои советы покажутся наивными, хотя я не маниловщиной занимаюсь, а говорю лишь о том, что сам наблюдал в разных землях. Так пусть люди более сведущие серьезно подумают о тех, кому расти и жить в скучном

однообразии столичной периферии.

Как бы ни выглядели новые районы, в них все равно не будет того, чем богата — до сих пор богата — старая Москва: связи с прошлым. Вот почему так важно сохранить исторический образ города. В памятниках архитектуры — деяния предков, героическая быль многострадальной русской столицы и нетленная красота. Пусть молодой человек недалекого будущего, уроженец микрорайона, не увидит вокруг себя старины в благородной патине, он сядет в поезд метро, троллейбус, в собственную машину или вертолет и отправится к Симонову монастырю, и душу ему опахнет той давностью, когда Русь одна стояла против кочевников, и, не будь ее, дикие орды наводнили бы Европу; он забредет в Лефортово и увидит колыбель русской государственности, здесь гениальный сын России Петр почуял впервые вей свежих морских ветров и устремил горящий взор на Запад; он пойдет в район Старого Арбата, и его обнимет тишина низенькой посленаполеоновской Москвы (хочется верить, что стеклянным башням путь туда заказан)…

Но все это будет, если мы научимся много бережнее, много заботливей относиться к нашей Москве, все время думать, помнить о ней и не считать заботу о ее облике, благе и будущем делом каких-то специальных учреждений. Нет, это дело всех нас, и следует пожелать нам ленинградской ответственности, настойчивости, решительности и непримиримости, когда речь идет о родном городе.

Но снова хочется повторить: бережный подход к старине вовсе не означает ее обожествления. Звонкие фразы вроде «прошлое свято и неприкосновенно» бессодержательны. Неприкосновенный на памяти нескольких поколений кремлевский город обзавелся новым зданием — Дворцом съездов, созданным в современных архитектурных формах. Сколько было по этому поводу пустых и невежественных разговоров! А вспомните, еще в XV веке старые москвичи возмущались дерзновенным покушением Ивана III на исконную московскую старину. Петр тоже покусился на Кремль, велев построить там Арсенал. При Екатерине были снесены монастырские подворья, здания приказов и один из последних боярских домов — Шереметева. Расчищалось место для нового грандиозного Кремлевского дворца по проекту Баженова, гениальному, как считали одни, чудовищному, как считали другие, безмерно дерзкому — по общему мнению. Но, попугав недругов Руси богатством истощенной казны, Екатерина успокоилась, и работы в Кремле замерли. Чуть позже Матвей Казаков встроил в Кремль величественное здание Сената в формах российского

классицизма. При «ревнителе казенного благообразия Валуеве», как язвительно писал историк Москвы, были сломаны все здания государева дворца, Троицкое подворье, Цареборисов дворец, Сретенский собор. И видный зодчий Тон построил Большой Кремлевский дворец, так раздражавший современников. Но разве придет кому в голову придираться сейчас к этому овеянному славой, высоко и мощно вознесшемуся над Москвой-рекой зданию? Вот и наш Дворец съездов лет через сто будет казаться столь же естественным и необходимым, как постройки Казакова и Тона. Кремль — не создание одной воли, раз и навсегда нашедшей ему форму. Каждая эпоха накладывала на него свой отпечаток, в нем достойно представлен каждый век. Тем и ценен этот единственный в своем роде ансамбль, что он являет собой не окаменелость, а подвижный образ меняющихся эпох: от Успенского собора, утвердившего значение Москвы как первого града на Руси, до Дворца съездов.

Но удача с этим превосходным и по идее, и по архитектурному воплощению зданием не должна развязывать рук тем бесцеремонным, чуждым ответственности людям, что спокойно могут встроить бетонную башню не только в скромный арбатский переулок, но хоть бы и во двор Пашкова дома…

И все-таки дело не только в том, как строить, — ломать тоже надо с головой. Зачем снесли старейшую в Москве аптеку на Пушкинской площади и так называемый «дом Фамусова»? Кому они мешали? Париж неизмеримо расширился, но остался Парижем. Лондон — Лондоном. И Ленинград наш вырос не за счет центра, сохраненного во всей его красе. А вот Москве крепко не повезло. Слишком многого лишилась ее древняя прекраснейшая часть. Убежден, что надо более обстоятельно взвешивать и больше считаться с общественностью, решая вопрос о том, что потом уже не поправить, не вернуть, не восстановить, — о жизни и смерти исторического ядра города. Памяти сердца народного. Частицы Родины нашей.

Волнуясь, радуясь, негодуя, вновь жадно дыша Москвой, я и не заметил, как произошло мое возвращение в родные пенаты. А когда почувствовал это каждой жилочкой, понял и другое: не могла Москва вернуться ко мне по-юному светло и безмятежно, нет, она принесла тревогу и новые обязательства, но в мои годы нельзя иначе относиться к Москве.

Наш незабвенный дом по Армянскому переулку был заселен рабочими московских типографий, теми наборщиками и печатниками, многие из которых были участниками трех революций. Общение с ними, дух доброго соседства и требовательного товарищества, который царил в нашем шумном

доме и двух его дворах, — все это составляло среду нашего обитания, растило, формировало, выпрямляло нас, мальчишек и девчонок, не меньше, чем школа или пионерский отряд. Старые дома, сады, хорошие люди — все это наши корни. Человек не может быть бескорневым. В Югославии, в Дубровнике, мне показали однажды дерево, которое живет без корней, без земли — из банки с водой. Это страшно. В отношении человека — особенно.

Надо подтолкнуть людей к восстановлению дворового коллектива со всеми его столь важными для общежития добрыми правилами и традициями. У нас во дворе не было ни «козла», ни водки. Но были голуби. Был каток. Были мушкетерские бои. Мы закатывали оперы на черном дворе, у дровяных сараев. Выпускали стенную газету. Чудо человеческого общения, которое я сейчас вспоминаю как счастье, может быть сотворено заново. Оно так нужно людям, молодым особенно. Без него наше чувство Родины и бледнее, и беднее.

Ныне новый маленький мальчик с рыжей головой и горящими ушками серьезно и пытливо смотрит в окошко на московский мир. Мы обязаны все время думать о том, каким передадим ему наш город.